Максим Горький

Скуки ради



Скуки ради
Максим Горький

Аннотация
Максим Горький. Скуки ради

Аннотация

«Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты – главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления её служащим…».

Максим Горький
Скуки ради

…Извергая клубы тяжёлого, серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в жёлтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И, когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба, — вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-жёлтая, небо — ярко-голубое. И та и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишённым фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты — главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления её служащим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей,

разнообразно одетых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомлённые, нетерпеливые, равнодушные лица — звонок, свистки — и с грохотом они уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица, и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их сердцах — смутная зависть к людям, которые ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключённые в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами чёрную ленту, — она исчезает в золотом море хлеба, — и молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции — добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник — рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука — маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик.

На скамье у двери станции сидит жена начальника, маленькая, толстая женщина, сильно

страдающая от жары. На коленях у неё спит ребёнок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда начальник станции говорит, обращаясь к жене:

— А что, Соня, самовар готов?

— Конечно, — лениво и тихо отвечает она.

— Лука! Ты тут, того… подмети полотно и перрон… видишь — сколько нашвыряли всякой всячины…

— Я знаю, Матвей Егорович…

— Да… ну, что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

— По обыкновению, — говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

— А что, Соня, обед готов?

Потом он отдаёт приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

— Ну, что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

— Как всегда…

Уходят с перрона в комнату, где много цветов

и мало мебели, где пахнет кухней и пелёнками, и там, вокруг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

— Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в жёлтом? Ядовитая штукенция!..

— Недурна, но одета безвкусно, — отвечает помощник.

Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он кончил гимназию. У него есть тетрадка в чёрном коленкоре; он записывает в неё разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признаёт его авторитет во всём, что не касается службы, и слушает его внимательно. Особенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

— Разве жёлтое не к лицу брюнеткам?

— Я говорю о фасоне, а не о цвете, — объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы себе на блюдечко.

— Фасон — это другое дело!.. — соглашается

начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изощрены — беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своём великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда; но прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведён. Эти новости не обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснётся земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение, возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается краем к земле и лениво уходит в неё или за неё. В небе ещё долго после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но

она всё бледнеет, и наступают сумерки, тёплые и молчаливые.

Вспыхивают звёзды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползёт тьма ночи. И вот приходит ночь, чёрная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздаётся звонок — повестка к поезду; торопливый звук колокола несётся в степь и быстро тонет в ней.

Вскоре после звонка из тёмной дали выбегает красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окружённой тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живёт несколько иначе, чем аристократия.

Сторож Лука вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в деревню за семь вёрст от станции. Там у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого и степенного стрелочника «подежурить» на станции.

При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке:

— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно…

А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый солдат с круглым, красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

— Хозяйство! — восклицает он, усмехаясь. — Жена!.. Понимаю я, что оно такое…

Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ах ты птичий губернатор! — презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц.

Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг неё, целый день, не смолкая, раздаётся птичий гам. Пленённые солдатом перепела неустанно кричат своё однообразное «подь-полоть», скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними всё своё свободное время и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовёт ужом, Гомозова — кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они «бабьи прихвостни» и что

следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но, если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

— Гарниза ты серая, крысиный объедок! Что ты можешь понимать, отставной козы барабанщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую капусту караулил… твоё ли дело рассуждать? Пошёл к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шёл жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его — не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплёвываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим… Конечно… баловство это… но, между прочим, не суди, да не осуждён будешь…

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди… а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать…

Кроме жены начальника, на станции была ещё

одна женщина — кухарка. Звали её Арина; ей было лет под сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на её рябом лице блестели узкие, испуганные глазки, окружённые морщинами. Было что-то рабское, забитое в её нескладной фигуре, толстые губы её постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать. Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он говорил ей «здорово!» Она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришёл в кухню начальника станции и предложил Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то сама понесла их к нему.

— Вот и спасибо! — сказал Гомозов. — Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть — тридцать копеек следует тебе… Верно?

— Да уж так… — ответила Арина. Гомозов задумался и долго молчал.

— А ты какой губернии? — спросил он, наконец, женщину, всё время смотревшую на его бороду.

— Рязанской… — сказала она.

— Издалека! А сюда как же попала?

— А так… одна я… одинокая…

— От этого и дальше можно зайти… — вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачского уезда… — заговорил Гомозов. — Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была… дети — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так… А я того… замотался с горя. Да-а… Потом пробовал опять устроиться — ан нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошёл… на сторону, стало быть, со своей дороги… вот и бьюсь третий год уж…

— Плохо, когда нет своего гнезда, — тихо сказала Арина.

— Ещё бы!.. Ты вдовая, что ли?

— Девка…

— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.

— Ей-богу, девка, — уверила его Арина.

— Что же замуж не вышла?

— Кто возьмёт меня? Безо всего я… кому корысть… да и с лица некрасивая…

— Да-а… — задумчиво протянул Гомозов и,

поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на неё. Потом справился, сколько она получает жалованья.

— Два с полтиной…

— Так. Ну… значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что… ты приди-ка вечером за ними… часов этак в десять, а? Я тебе и отдам… чаю попьём, поговорим скуки ради… Оба мы одинокие… приходи!

— Приду, — просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал её к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лёжа на койке, посмотрел на неё и, подвинувшись к стене, сказал:

— Садись.

А когда она села, объявил ей:

— Ты вот что, — храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо… я не молоденький, да и ты тоже… Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая её, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

— Чтобы ни одна душа — ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он принимал её снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

— А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая её где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

— Приходи сегодня…

И она покорно являлась к нему с таким серьёзным выражением на своём рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице её уже снова была обычная ему мёртвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь.

Там царила ночь, и от сурового молчания её на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой

тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так, — это всё-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

— А сегодня жарче вчерашнего, — сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

— Это от скуки кажется, что жарче…

— Гм! Пожалуй… действительно… Вот карты хороши в этом случае… но — нас только трое…

Николай Петрович повёл плечами и, прищурив глаза, отчётливо произнёс:

— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко! — умилился Матвей Егорович. — Как это? Банкротство мысли… да-а! А кто сказал?

— Шопенгауэр, немец, философ…

— Фи-илософ? Мм…

— А что эти философы — в университетах служат? — полюбопытствовала Софья Ивановна.

— То есть как вам сказать? Это не чин, а… так сказать, природная способность…

Философом может быть всякий… кто родится

с привычкой думать и во всём искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы… но они могут быть и просто так… даже служить на железной дороге.

— И много получают те, которые при университетах?

— Глядя по уму…

— Но, если бы был четвёртый, — премило бы мы повинтили! — со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребёнок.

— Арина там? — спрашивает Матвей Егорович.

— Конечно… — кратко отвечает ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович…

— Оригинальность — первый оттиск банальности, — как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

— Как? — оживляется начальник.

И, когда Николай Петрович вразумительно повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голоском говорит:

— Как вы хорошо помните то, что читали… а

я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню… Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то такое интересное, такое забавное, — а что? ни слова не помню!

— Привычка, — кратко объясняет Николай Петрович.

— Нет, это лучше этого… как его? Шопенгауэра… — улыбаясь, говорит Матвей Егорович. — Выходит, что всё новое будет старым!

— И наоборот, ибо один поэт сказал: «Да, экономна мудрость бытия: всё новое в ней шьётся из старья».

— Фу ты, чёрт! Как это у вас… точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеётся, его жена мило улыбается, а Николай Петрович польщён и безуспешно хочет скрыть это.

— Кто это сказал насчёт банальности-то?

— Барятинский, поэт.

— А другое?

— Тоже поэт — Фофанов.

— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и нараспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двустишье.

Скука как бы играет с ними, — на минуту освободит их от своих тесных объятий и снова

обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи — только солнце.

— Да, так я заговорил об Арине, — вспоминает Матвей Егорович. — Странная эта баба, смотрю я на неё и удивляюсь. Точно её пришибло чем-то, не смеётся она, не поёт, говорит мало… пень какой-то. Но между тем она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребёнку…

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услыхала его слова. Он знает, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

— Ну, уж ты оставь… ты не всё знаешь о ней!

Любви раба,
Я так слаба
В борьбе с тобой,
О демон мой!

— тихонько и речитативом напевает Николай Петрович, отбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.

— Что, что такое? Она… ну, ну, это вы уж врёте оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щёки у него трясутся и со лба быстро стекают капельки пота.

— Это совсем даже не смешно! — останавливает его жена. — Во-первых, у неё на руках ребенок; во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел… А почему?

— Да-а, хлеб, действительно, не того… нужно ей сделать внушение! Но, ей-богу! это… этого я не ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, чёрт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого чёрта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозов… — кратко говорит Николай Петрович.

— Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того — не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажнёнными глазами, то серьёзно говорит о необходимости сделать влюблённым строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец, он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно… — не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

— Телеграп стучит…

— Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку, Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: «могу ли отправить поезд номер 42», а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

— А мы с вами вышутим их, чертей… всё-таки, скуки ради, посмеёмся хоть немного…

— Это позволительно!.. — соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.

Им очень скоро представилась возможность посмеяться.

Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них — ей было до того страшно, что она почти не спала и, лёжа на снопах соломы с открытыми глазами,

всё шептала про себя молитвы, известные ей.

Гомозов пришёл, долго и молча мял и тискал её, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шёпотом:

— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!

— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.

— Заперли нас…

— Как так? — спросил он, вскакивая.

— Подошли и… замком…

— Врёшь ты! — испуганно и гневно шепнул он, отталкивая её от себя.

— Погляди сам, — покорно сказала она.

Он встал и, задевая за всё, что встречалось на пути, подошёл к двери, толкнул её и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это солдат…

За дверью раздался ликующий хохот.

— Выпусти! — громко попросил Гомозов.

— Что? — раздался голос солдата.

— Выпусти, мол…

— Утром выпустим, — сказал солдат и пошёл прочь.

— Дежурство у меня, чёрт! — сердито и умоляюще крикнул Гомозов.

— Я подежурю… сиди, знай!..

И солдат ушёл.

— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник. — Погоди… запирать меня всё-таки ты не можешь… Есть начальник… что ты ему скажешь? Он спросит — где Гомозов — а? Вот ты и отвечай ему тогда…

— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, — тихо и безнадёжно сказала Арина.

— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов. — Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: — Врёшь ты!

Она ответила тяжёлым вздохом.

— Что же это будет? — спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери. — Срам-то мне какой! А всё ты, уродина чёртова, всё ты это… у-у!

Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук её дыхания. Она же молчала.

Сырая тьма окружала их, — тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и ещё чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции.

— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов со злобой и презрением. — Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, чёрт,

что будем делать? Куда от сраму мне деваться?

Ах ты, господи! На что я связался с этакой!..

— Я прощения попрошу, — тихо объявила Арина.

— Ну?

— Может, простят…

— Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет?

Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать её. А время шло жестоко медленно.

Наконец, женщина с дрожью в голосе попросила его:

— Прости ты меня, Тимофей Петрович!

— Колом бы тебя по башке простить! — зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключённых во тьме.

— Господи! хоть бы светало скорее, — тоскливо взмолилась Арина.

— Молчи ты… я те вот засвечу! — пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в неё тяжёлыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени всё увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая

минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.

Гомозов задремал, наконец, и проснулся от крика петуха, раздававшегося рядом с погребом.

— Эй, ты… ведьма! Спишь? — глухо спросил он.

— Нет, — тяжёлым вздохом ответила Арина.

— А то бы заснула! — с иронией предложил стрелочник. — Эх ты…

— Тимофей Петрович, — почти взвизгнув, воскликнула Арина, — не сердись ты на меня!

Пожалей ты меня! Христом богом прошу — пожалей! Одна ведь я, одна-то одинёшенька! И ты мне… родной ты мой — ведь ты мне…

— Не вой — не смеши людей-то! — строго остановил Гомозов истерический шёпот женщины, несколько смягчавший его. — Молчи уж… коли бог убил…

И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего.

Вот, наконец, в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребе. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошёл к двери, постоял и удалился.

— М-мучители! — замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и напряжённое.

— Господи!.. помилуй… — прошептала Арина.

Как будто тихо подкрадываются к погребу… Гремит замок, и раздаётся строгий голос начальника:

— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну, живо!..

— Иди ты! — вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.

Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:

— С законным браком поздравляю! Пожалуйте! Музыка — играй!

Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушённый взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.

Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своём рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щёки, делал губами, как труба:

— Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока.

Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

Тимофею да Орина

Сладки речи говорила… —

пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.

— Ну, идите… ну… под руку бери её!.. — кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя… будет… ах! умру!

За миг свиданья

Терплю страданья! —

пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.

— Ур-ра новобрачным! — скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперёд. И все четверо дружно гаркнули «ура», причём солдат кричал ревущим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у неё тупо смотрели вперёд, но едва ли видели что-нибудь.

— Мотя, вели им… поцеловаться!.. ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился

к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро всё грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, пел:

А и густо ты, Орина,

Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошёл до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окружённая беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг неё в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрёпанная, грязная, и жалкая, и смешная.

— Новобрачный удрал, а… она осталась, — кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы — в степь. Свист, крик, хохот провожали её.

— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна. — Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба.

Она шла медленно, как человек, глубоко заду-

мавшийся.

— Как, как? — переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашёл время и место вставить маленькую мудрость:

Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно! —

сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил: — Но много смеяться — вредно!

Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою красавицу.

— По оригинальности — это грехопадение номер первый, — сказал Николай Петрович начальнику.

— Грехопадение и есть, — хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что

если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

— Вначале она мне всё подмаргивала.

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, этакая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

— Но «не в шитье была тут сила»... — заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете, из Некрасова — из стихотворения «Нарядная и убогая»... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неугомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у неё вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту, подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать.

И в то время, как солнце жгло её кожу, изнутри её грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

— Господи!.. помилуй…

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрёкот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, чёрную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной жёлтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине её и уж никто никогда не придёт разделить тяжесть её одиночества, — никто, никогда…

К вечеру она услыхала крики:

— Арина-а! Аришка, чё-орт!..

Один голос был голосом Луки, другой — солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал её, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с её рябых щёк на грудь ей. Плакала она и тёрлась голой грудью о сухую тёплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, всё сильнее терзавшую её. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погреба и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о её позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй... — вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из верёвки, на которой сушила выстиранное ею бельё.

Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле? Николай Петрович неопровержимо доказал, что виноват — Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией…

Рабочим дорожного мастера было поручено свезти её в степь и там закопать. Когда же это было исполнено — на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова её обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетавшими мимо них.

…А зимой, когда по степи с воем и рёвом носятся вьюги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими звуками, — обитателям станции живётся ещё скучнее.